Общая газ. - 1997. - 9 - 15 окт. - с. 15.

диалог с самим собой

Нервные люди

Михаил ГЛУЗСКИЙ

Моя актерская судьба так сложилась, что главные и любимые роли я сыграл после шестидесяти: профессора Сретенского в «Монологе» Авербаха, Фрола Федулыча Прибыткова в «Последней жертве» Тодоровского. Да и в самые последние годы, в театре: старец Зосима в «Карамазовых» в «Современнике», спектакль «Уходил старик от старухи» у Райхельгауза, где повезло мне работать с Марией Владимировной Мироновой. Если говорить в шутку – может, это мне было на роду написано? В учебном спектакле «Горе от ума» наш педагог Тарханов дал мне роль Фамусова. Мне было тогда 18 лет.

А все-таки ни живописать, ни приукрашать старость я не собираюсь. Время, на которое пришлась моя старость, мне интересно. Слава Богу, есть у меня какое-никакое здоровье, есть работа. Не было бы здоровья и работы – было бы мне тяжело и плохо. Да нет, не тяжело и не плохо – просто хуже. У меня есть дети и внуки, и нашлись бы тогда у меня заботы, связанные с домом. Но я боюсь, что очень скоро начал бы отставать от жизни, дряхлеть – и пропадать...

Вот старики и старухи у здания бывшего музея Ленина (а по-настоящему – городской Думы). Вроде бы кипит жизнь: митингуют, спорят, торгуют своими газетками, оскорбительными для меня, их сверстника. Я вижу: они – пропадают. Нет среди них настоящих нищих – иначе стояли бы не здесь, а на паперти. Нет и всерьез больных: и молодому-то человеку день простоять на ногах трудно. И наверняка у всех есть семьи, домашние заботы, и дети, если с ними и не живут, как-то им помогают. Что же их сюда влечет? Только ли нужда, униженность и обида?

Они ищут здесь и находят время, в котором остались, вместе с его ценами и ценностями. Это зрелище трагическое. Впервые после Фамусова мы наблюдаем не конфликт отцов и детей, а конфликт отцов и времени: старики не способны это новое время принять, признать его порядок вещей. Их отчаянный протест – оттого что они на самом-то деле понимают: по крайней мере в нашей стране, по крайней мере на их веку возврата к тем ценностям и ценам не будет.

А я-то что – вне конфликта? Я – разве не плоть от плоти ушедшего времени? Разве не жалко мне этих стариков у музея? Очень жалко. И все же в их протесте чувствую что-то лицемерное.

Есть такая очень милая передача на телевидении – «Старая квартира». Собираются пожилые люди и с нежностью вспоминают, как им жилось в сорок девятом в коммуналках, о которых в песне Высоцкого сказано: «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Я тоже в такой квартире жил, правда, там было две уборные на сорок два жильца. Была кухня в этой квартире, где стояла в углу маленькая газовая плита, доставшаяся нам в наследство от тех, кто жил там до революции. Мы ею не пользовались, у нас у всех были примусы и керосинки. Мы их чистили специальными иголками и страшно скандалили, когда у кого-то иголка пропадала. Об этом бессмертный Михаил Михайлович Зощенко написал рассказ... как же он называется, дай Бог памяти? Ах, да: **«Нервные люди»**.

Милая передача. Но смотря ее и поддаваясь общему умилению, я спохватываюсь: друзья, да что ж это мы делаем! Ведь мы романтизируем казарму, если не сказать резче, а если смягчить – коммуну. То есть такой порядок вещей, когда все видят, что у тебя в кастрюльке, все обращают внимание на то, какое ты купил себе пальто, все знают, на какой кровати ты спишь и на какой спят твои дети. И никто не чувствует неловкости. И никто не заикается об унижении.

Да какое там унижение – весь век сплошное ликование: то, отстояв семь часов в очереди, получил по карточкам положенное тебе количество жиров, белков и углеводов; то карточки отменили, и ты купил в Елисеевском сто граммов колбасы и двести сыру; то тебе дали отдельную квартиру после двадцати лет в коммуналке. Историки спорят, когда у нас окончательно победил социализм. Исходя из своего опыта – мне 79 лет – могу совершенно ответственно заявить: не знаю уж насчет реального, но психологический социализм торжествовал каждый раз, когда удавалось что-нибудь достать. Например, социализм торжествовал в 39-м: я уже начал сниматься, получил определенную сумму денег, занял с вечера очередь в Столешниковом переулке – там тогда был обувной, потом винный магазин, а сейчас не знаю, что именно, – и наутро у меня были новые кожаные ботинки. Мы с друзьями праздновали победу социализма в новогоднюю ночь, когда один из нас достал выпивку, другой закуску, третий сладкое, тоже отстояв ночь в очереди. И никакого унижения – да все так живут! И никакого подозрения, что жить можно как-то иначе. Были в той коммунальной жизни, конечно, и минуты, когда удавалось опереться на тесное соседство, – ну, к примеру, попросить соседку посидеть с детьми, если вам захотелось сходить в кино, – а все-таки это была жизнь в условиях гражданской войны. Большая гражданская война, с которой началось, плавно перетекла в малые гражданские войны в границах коммуналок и очередей.

У нас, кажется, до сих пор транспорт называется коммунальным? или общественным? Ну, разница невелика. Вроде бы гуманно: в каждом вагоне, впереди, есть места «для пожилых и инвалидов». Но опять я чувствую оттенок лицемерия в этой обязаловке, в напоминаниях водителя: «Будьте вежливы». Недавно вхожу в вагон, сидит на одном из таких мест молодой человек, рядом стоит преклонных лет дама. Я парню говорю: «Неужели вам трудно место уступить?» – он встает. И тут уж я получаю сполна от этой дамы, за которую порадел: «Да кто вас просит! Я вовсе не хочу сидеть!» – и, если подумать, она права, а я – нет. Я ведь вторгся на чужую территорию, в зону чужой свободы: и этой пожилой дамы, и того молодого человека. В Америке или во Франции, я видел, вообще нет такого закона в автобусе уступать место: живу, как живу, еду за свои деньги, как мне хочется. Деликатные вещи. Касаются только тебя, твоего воспитания, твоей среды – и никого больше. Ни общества, ни коллектива. А мы все тащим и тащим свои привычки из тех времен, когда верилось: «Общество не подведет, коллектив не бросит» – и места свободного не оставалось для частной, личной или, как говорили встарь, приватной жизни. Главное – в критический момент все равно старались вытеснить члена коллектива из трамвая, из очереди, из уборной, которых в твоей коммуналке на сорок два жильца всего две. Значит, лицемерили, а не верили в силу коллектива? Получается, лицемерили...

Чтобы уж покончить с коммунальным транспортом – вот, я давно заметил: передние, почетные места в наших вагонах помечены картинкой – мамаша с ребеночком на коленях. Я, например, никогда своих детей в метро или в трамвае, когда они маленькими были и я с ними куда-то ехал, не усаживал. Сам стоял – и они стояли. Кто-то другой из родителей заставлял свое чадо место уступить старику. Но до сих пор обыкновенно мамаша всеми правдами и неправдами своего байбака усадит – пусть рядом сто согбенных старушек будут стоять. Потому что и эти старушки в свое время, будучи молодыми мамашами, точно так же поступали. Всем писаным и неписаным заповедям в народном сознании противопоставлены были всего две: «Только бы не было войны!» и «Мы воевали-голодали, так пусть наши дети поживут по-человечески!» Вот сегодня мы, старики, за эти две наши заповеди и расплачиваемся. Выясняется, что есть в жизни – в той главной ее части, которую каждый носит в душе, – кое-что пострашнее войны. Одиночество. Разобщенность. Потеря точки опоры. И еще открывается нам незатейливая, в общем, истина: не может, не должно одно поколение жить не по-человечески, а другое – по-человечески. Каждому по-своему трудно в жизни. И у каждого свои радости. И каждому есть на что опереться. Прежде всего – на корни свои.

О «Монологе» критики писали: вот, мол, Габрилович, Авербах и Глузский сломали стереотип образа старого русского интеллигента как человека, живущего будто под стеклянным колпаком. Но главное для меня было не в том, что Никодим Васильевич Сретенский – «от мира сего», а в том, что он не отрекается от своих корней. И все, что он делает и в науке, и в частной жизни, – именно тем продиктовано, что он Никодим Сретенский, помнящий, откуда родом. Отсюда и терпение его, и бесконечная доброта, и понимание молодых людей, и жертвенность. Ведь наше поколение – не только из дворянского или духовного сословия, но и из раскулаченных крестьян, – мы свою биографию, карьеру, судьбу чаще всего строили на костях предков, вернее, на отречении от них. И фамилии меняли, и в анкетах норовили слукавить в графе «происхождение», и страшились: вдруг кто узнает о родственниках за границей. Кого обманывали-то? Начальство, органы, соседей? Да собственную жизнь. А живем мы – это мое давнее и крепкое убеждение – в основном все-таки на том и за счет того, что нам оставили предыдущие поколения. И детям на этом жить. Значит, мы не только родителей предавали, но и детей, еще не выросших. Мы учили их не тому, что жили до нас люди и будут жить после нас, а тому, что с нас все на свете началось и после нас хоть потоп...

У поэта Межирова – тоже сверстника моего – есть такие строчки:

Старость – это награда
иль расплата за все...

И дальше:

Так что слишком и очень
не сходите с ума,
если кончилась осень
и настала зима.

Не надо сходить с ума. Не надо нервничать. В нашем возрасте это особенно некрасиво. Надо стараться сохранить достоинство, подобающее старости, а не драться по-мальчишески с новым временем.

Вспомним: все мы в школе учили монолог Фамусова – и сочувствовали Чацкому.